

**К**огда рано утром, еще до начала работы, за шофером Алексеем Дмитричем Будаковым прибежала посыльная и сказала, что зовут в правление, к председателю, Будаков понял, что дело — сугубо важное. А то б не стали звать в правление, да еще к самому председателю. Верно, ехать ему в Воронеж. Или что-нибудь вроде этого. В такие ответственные поездки посылали обычно только его — самого опытного, аккуратного из колхозных шоферов, непьющего, и потому — надежного.

В Воронеж Будаков ездил, должно быть, сотню раз. Весь путь туда и обратно он знал наизусть: каждый спуск, каждый подъем, каждый изгиб, поворот дороги. Знал пригороды и центр, как лучше въехать, выехать, и никогда не терялся на городских улицах с их обилием транспорта, снованием прохожих, со светофорами и милиционерами на каждом перекрестке.

Но председатель первыми же своими словами огорошил Будакова: нет, на этот раз не в Воронеж, а совсем в незнакомую сторону, далекую, за полтыщи километров. В брянский племхоз. Колхозу занарядили двух породистых бычков. Зоотехник уже там, деньги заплачены, вот его телеграмма, надо забирать немедленно, пока кто-нибудь не перехватил. Упустим — тогда опять жди неизвестно сколько. И так два года ждали. Поэтому, сказал председатель, готовь, Алексей Дмитрич, машину немедленно и по готовности сразу же выезжай. И гони без остановки.

Чтоб завтра быть уже там. Это даже лучше — ночью ехать: прохладно и дорога пуста.

Сказав все это, председатель протянул Будакову путевой лист, уже заполненный и подписанный, с лиловой колхозной печатью. Канцелярской скрепкой к нему были приколоты талоны на бензин и командировочные деньги. Такая оперативность была совсем не обычна для колхозной бухгалтерии, проявлялась в редчайших случаях, и одно это уже свидетельствовало, сколь важно дело с бычками и как обеспокоен председатель, чтоб они были поскорее доставлены в колхоз.

— Напарником Павла Дударова возьми, — сказал председатель, заключая свои распоряжения. — Он по трассе еще не ходил, надо ему ума набираться. Только когда с бычками поедете — руля ему не давай, веди все время сам. Понял? Молод он еще. Растеряется — и загубите бычков. А это, знаешь, сколько рубликов?

— Тыщонки полторы? Две? — предположил Будаков.

— Если бы! — усмехнулся председатель.

На гаражном дворе шофера копошились возле своих машин, налаживая их, регулируя моторы, готовясь к выезду на работу. Кузова почти всех грузовиков были с надставками из досок. Колхоз косил на силос кукурузу, ее спешили убрать, пока она свежа, и все шофера в эти дни занимались одним: возили с полей зеленую массу к бетонным траншеям.

— Зачем вызывали? — окликнули Будакова. Ничто не остается в деревне сокрытым, все тут же расходится по людям. Кто-то, значит, слышал про его вызов в правление, сказал остальным.

— В командировку, — ответил Будаков буднично, точно несколько не был взволнован поручением.

— Далеко?

— Под Брянск, в племхоз.

— Ого! — присвистнул кто-то удивленно. Будаков не стал больше ничего пояснять, предоставив шоферам самим оценивать его сообщение. Большинство среди них — молодежь. Одни после сельской десятилетки окончили водительские курсы в райцентре, другие изучили шоферское дело на службе в армии. Технику, ничего не скажешь, все они знают хорошо, и на курсах, и в армии учат неплохо, но ездить им приходилось, в основном, внутри колхоза да по грейдерным дорогам своего района. Перед большими автомагистралями, дальними рейсами у всех у них не то чтобы страх, но вполне естественная робость, и тот, кто уже «ходил по трассе», кому доверяют дальние рейсы — в их глазах имеет особую цену, особый авторитет и почет. Будаков знал почтительное отношение к себе молодых шоферов, но никогда не козырял своим отличием от них, не важничал. Просто он намного старше — вот и все. Когда-нибудь и они наберутся опыта и, может, даже еще превзойдут его, Будакова. Не мудрено. Хороших дорог все больше и больше, год назад проложили асфальт от райцентра до Воронежа, не за горами время, когда ровные ленты асфальта соединят все до единого районные села, и всем шоферам подряд станут привычными высокие скорости, строгий порядок автомобильных шоссе, где только гляди да гляди, будь начеку, а то вмиг расплатишься за свое невнимание или небрежность.

Будаков сам когда-то был таким, как эта молодежь. Четверть века назад, когда он начинал свою шоферскую жизнь, внутри области вообще ни одной твердой дороги не было, только щебневое пыльное Задонское шоссе, и тогда тоже шофера с уважением, даже еще большим, смотрели на тех, кому довелось побывать вблизи Москвы, выезжать на настоящие автомобильные магистрали. Эти рассказы слушались, как воспоминания моряков, побывавших в неведомых краях, полных небывалых, удивительных вещей.

Павел Дударев обрадовался, как мальчишка, что он назначен в парники. Во-первых, интересно прокатиться так далеко, повидать попутные места, незнакомые города и городишки. Он еще не бывал нигде. Колхоз, армия, опять колхоз — и все. Даже Москву не видел, а в Москве кто сейчас не бывал? Во-вторых, от ездивших в такие поездки он знал, что это дело калымное, на дорогах всегда просят пассажиры. Подвез — вот тебе с носа полтинник, а то и рубль. И обед, и ужин, и курево, и бутылка — считай, задаром! Невысокого росточка, верткий, чернявый, по моде деревенских парней отрастивший волосы по самые плечи, он тут же возбужденно взгорячился и весь внутренне заспешил — в готовнос-

ти исполнять команды Будакова, скорей наладить машину к рейсу и тронуться в путь.

А Будаков, напротив, не стал торопиться. Присев на подножку своего старенького, но опрятного ГАЗа, старательно подкрашенного там, где облупилась краска, он выгасил пачку «Примы», закурил и стал размышлять, что надлежит сделать с машиной, чтобы она не подвела в пути. Он всегда так делал — сначала неторопливо намечал в уме, а уже потом приступал к делу. А то если засуетишься не подумав, обязательно что-нибудь забудешь, упустишь, а потом — кляни самого себя, свой спех и забывчивость.

Грузовики один за другим съезжали с гаражного двора, гремуче встряхивая пустыми разболтанными кузовами, и резво устремлялись вдаль, взбивая дорожную пыль. Веселая, азартная это работа — возить с полей зеленое, влажное от собственного сока крошево, шофера ее любят. И нетрудно, и заработки набегают приличные, и вообще это время летней заготовки кормов — вроде праздника, особенно если еще такие вот погожие, ясные дни, сухие дороги. Удовольствие — да и только!

Так, соображал про себя Будаков, значит, прежде всего — свечи в керосине промыть, почистить. Карбюратор продуть, жиклеры. Установку зажигания проверить, что-то, кажется, поздноватым оно стало, сбилось. Клапаны он недавно регулировал, трогать их не надо. Тормоза тоже в порядке, колодки новые. Колеса надо внимательно просмотреть, нет ли гвоздей в протекторе. А то, бывает, влезет, и едешь с ним. А потом он и камеру проколет на ходу. А на трассе такое происшествие — не дай Бог. Машину сейчас же понесет в сторону, в кювет или на встречные. Вот и авария.

Подготовка протянулась до обеда. Залив полные баки бензина, Будаков подогнал «газон» к своему дому. Даша, жена, отпросившаяся с молочного завода проводить мужа, он еще в дом не вошел — уже поставила для него на стол полную миску жирных щей.

Будаков наскоро похлебал. Поднялся.

Даша подала ему сумочку с дорожными харчами, в нагрудный пиджачный кармашек сунула бумажку.

— Я тут тебе записала размеры. Посмотри там, где останавливаться будете, маечки для Витюшки, джинсы. Просит — и все, сладу с ним нет. И обувь какую-нибудь летнюю, хоть кеды, все равно. Полуботинки свои он уже добил совсем футболом этим окаянным, а в нашем магазине его номеров нету...

Павел Дударев, тоже бегавший домой подзаправиться и захватить нужные в дороге вещишки, уже сидел в кабине.

— Поосторожней, Алеша, — попросила Даша.

Будаков чуть усмехнулся. Заботливая у него жена, да чересчур. Каждый раз она ему это напоминает. Не то он сам не смыслит?

— Ничего, не впервой. Ну, бывайте тут... Помидоры полей, а то желтеть уже стали...

— Папа, и я с тобой! Хоть до моста! — попросился Витюшка, самый младший из сыновей, третий по счету.

Пока Будаков ел щи, он то вертелся возле стола, то выбегал на улицу к стоявшей машине. Поглядеть на него — просто дикаренок. На голом коричневом теле одни трусы. Волосы почти белы от солнца, вихрами в разные стороны. Давно бы надо остричь, да не дается, сразу же в крик и слезы. И до таких малолеток длинноволосая мода докатилась. На щеке —

засохшая ссадина. Тоже, должно быть, футбольного происхождения, как и все его ежедневные синяки и шишки.

— Ладно, садись, — разрешил Будаков. Он помог мальчишке взобраться на высокую для него подножку, а там его подхватил Павел, посадил к себе на колени.

Будаков зашел с левой стороны кабины, сел за руль, прихлопнул дверцу.

Давным-давно, перед самой войной, он был таким же точно пацаном, гордым тем, что отец его Дмитрий Матвейч — эмтээсовский шофер, ездит на полutorке. Это сейчас шофера в деревне — через одного человека, а тогда профессия эта только начиналась, и в глазах мальчишек шофера были необыкновенные люди. Вот так же караулил он счастливые минуты, когда отец заезжал на машине домой, и вот так же просился прокатиться в кабине, и отец не отказывал, катал, часто — до того же моста на выезде из деревни. Мост и тогда существовал. Не такой, правда, пожиже, поуже, из хлипких бревен. Прочней тогда и не требовалось, техники в селе было еще не богато, ездили и работали в основном на волах и на лошадях.

Оттого, что он покидал деревню и дом на несколько дней и впереди предстояла длинная и трудная дорога, на которой всякое может случиться, и внутри, под сердцем, томяще шевелилось чувство разлуки со всем родным ему и домашним, Будакова пронзило это сходство между восьмилетним Витюшкой и им самим — из той давней, предвоенной поры, и остро всплыла память об отце. Он был рослый, рукастый, весь точно обугленный, прожженный насквозь солнцем, от него всегда заманчиво пахло машиной: кожей сиденья, резиной, маслом, дорожной и хлебной пылью. Бесконечно много прошло с той поры лет, но даже отцовскую полutorку не забыл Будаков и мог бы узнать из десятка других таких же машин. Стоит ему закрыть глаза — и вот она вся перед ним: темно-зеленый тусклый лак капота и помятых крыльев, желтоватое, местами расслоившееся внутри ветровое стекло, черный, всегда горячий летом руль в мелких бугорках снизу — чтоб плотней, удобней охватывали его пальцы, стертые до белого металла педали... С этой своей эмтээсовской полutorкой отправился отец на фронт, когда началась война, и не вернулся...

Перед мостом Будаков остановил машину, высадил Витюшку. Тронулся, выглянул из кабины в открытое окно. Витюшка стоял на обочине: вихрастый, все косточки наружу, ножки тонкие, как две соломинки, — смотрел вслед. На этом же месте, бывало, стоял он сам, Алексей, провожая отца, и смотрел, пока машина не скрывалась вдали...

## 2

— Ну, все, оторвались... — радуясь, сказал Павел. Он поудобнее откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги. — Полчаса — и Хава, еще часок — и на трассе...

— Не говори — гоп... — рассудительно ответил Будаков. Ровный, накатанный грейдер лишь слегка потряхивал машину. Ветер хлестко бился в проемах окон.

Отца Будакова, Дмитрия Матвейча, случалось, тоже посылали в дальние концы. Куда — Алексей по малости лет не понимал и названий тех не запомнил. Мать тоже тревожилась — не случилось бы что в дороге, собирала ему харчишек, укладывала в плетеную кошелку. Были тогда в быту плетеные кошелки, для базара, покупок, сейчас таких уже нет, не

делают. Бывало, отец отсутствовал подолгу, по неделе. В детстве такой срок — бесконечность. Вся жизнь Алексея превращалась тогда в ожидание. Пропадал интерес к играм с соседскими мальчишками. Он выходил на дорогу, смотрел — не едет ли? Каждое облачко пыли вдали казалось машиной. Возвращался отец — и обязательно привозил какие-нибудь подарки. И ему, и сестрам. Хоть малость какую-нибудь, безделицу копеечную, пряник обливной, но — обязательно. Теперь, вырастив двух сыновей, с подрастающим третьим, Будакову это очень понятно — какой было радостью для отца приглядывать, покупать эти подарки — поясок ли, свистульку из глины, детские часики на ремешке, распределять — вот это девочкам, это — меньшому, Алешке... Отец не умел говорить нежные слова, обнимать, ласкать детей руками, как иные отцы. Его любовь к ним была застенчивой, невидной, в таких вот поступках: купить, принести что-нибудь из обуви, одежды, одарить нехитрыми игрушками...

Что-то все чаще вспоминается ему отец... Казалось бы, не должно в его-то годы... В такую уже даль ушло все то — детство, война, как приходили похоронки на деревню, как голосили по избам, всей семьей, и старики родители, и бабы-солдатки, и малые дети, кучей облепившие мать. Неделю назад — в той избе, сегодня — в этой... Об отце даже похоронки не получили, просто перестали приходиться от него треугольнички торопливых писем — и все, не стало у Алексея отца. Где оборвалась его жизнь, в каких боях, при каких обстоятельствах — про это не узнали, и до сих пор не знает Будаков. Словно бы не погиб, не умер человек, а истаял без следа, без остатка в том огне, что валом катился от западных границ, все и вся пожирая...

Письма от отца были короткие — одна тетрадная страничка. И — спокойные, как будто он был совсем далеко от того, что сообщалось в сводках по радио каждое утро и каждый вечер, или даже совсем в другом месте. Отец писал, что кормят хорошо, дают и суп, и кашу, курева — вдоволь, сапоги и одежда на нем крепкие, портянок целых три пары. Получил ватник, называется — бушлат, в нем и зимой не замерзнешь. А пока годится спать. Ночи прохладные, спит он в машине или возле: завернешься в бушлат — и тепло, и мягко... Про дела свои на фронте, про обстановку отец писал скупо, как будто это было вовсе не главное, и так, будто никакие опасности ему не грозили: он только подвозит боеприпасы, разные грузы, — что прикажут; от передовых далеко, близко подъезжать не приходится, на километр-полтора, туда даже пули не долетают... И только из слов, что у него уже вторая машина, а с первой пришлось проститься, можно было понять, что не так все просто там, где находится отец, и пишет он так подробно про суп, кашу и сапоги потому, чтоб не писать про главное. Алексеева мать ясно все это понимала, бодрые отцовские письма приводили ее в скорбь и тоску и оставляли ожидание неминуемой беды, несчастья. А Алексей сожалел, что отец его не воюет, как настоящий солдат, с винтовкой или пулеметом, что он даже от передовой далеко, — вроде бы вообще не на войне...

Будакова не удивляло, что ему часто и по разным поводам приходят думы об отце. Причина была в том, что он сам подходил к его возрасту и чувствовал, как с этим сближением все отчетливей и ясней проявляются в нем отцовские привычки и черты. Оставаясь Алексеем Будаковым, он в то же время совмещает в себе еще и своего отца Дмитрия Матвейча, незримо для всех и только ощутимо для одного Алексея как бы продолжающего свою оборванную жизнь в его, Алексеевом, образе.

То в каком-нибудь разговоре сорвется фраза, и Будаков вдруг припомнит — так ведь это же так говаривал его отец! То вдруг жест какой-то, движение, не бывавшие у него прежде, а задумайся, напруги память — это тоже отцово. То вдруг размышления про что-нибудь, рассудительность — и опять это от отца: он так бы подумал, поступил... Отец был бережлив с вещами, подолгу носил свою одежду, всегда снимал пиджак, облачался в рабочий комбинезон, если надо было заняться починкой, полезть в мотор. Одежда не даром достается, зачем портить добро, зачем ходить грязным? И самому неприятно, и другим. Не приставало к нему неряшество, каким отличаются многие механизаторы на деревне; идет такой тракторист, шофер или слесарь-механик — страшила-страшилой, в какой только грязи он ни вымаранный; поди, и лицо-то моет от бани до бани... Отец не любил опрометчивых поступков, ни в чем, ни в работе своей, ни в домашних делах. Ехать куда — загодя выспросит, разузнает про дороги, выберет понадежней, верней. Если груз — трижды проверит, как он уложен, увязан. Корову покупали — так отец всех продажных коров в округе переглядел, сравнивая и выбирая. Мать иногда с ним ссорилась: считала, что он медлительный, тугодум. Сама она была иного характера, порывистого, безоглядного. Подолгу не гадала и, если ошибалась, так недолго жалела потом. Ошибалась она и в отце. Тугодумом он не был. Просто он любил добротность, основательность, прочность во всем...

### 3

В Хаве трепыхались на легком ветерке флаги, алели полотнища плакатов, протянутые поперек улиц. Как всегда, в канун уборки готовился слет механизаторов, и столица района украшалась, пестрела кумачом.

На центральной площади с серым бетонным зданием гастронома и разными другими магазинами вразброс стояли грузовые автомашины, газики-вездеходы, колхозные «Жигули» — недавних выпусков, но уже с помятыми крыльями и боками. Несладко этим неженкам на деревенских ухабах!

Будаков тоже остановился: купить на дорогу ситро или минеральной воды.

Среди людей, толпившихся в гастрономе, оказались знакомые. Будакова узнали. Он пожал с десятков потных, заскорузлых, темных ладоней.

— Далече намылился? Ну-у! Чего это? Гляди-ка, забогатели, значит... Ну, давай, давай, счастливо тебе... В Ельце мост чинят, поосторожней там!

Будаков купил четыре бутылки яблочного ситро, воткнул в брезентовые карманы на борту грузовика. Ветерок на ходу будет их студить, на любой жаре в таких карманах бутылки остаются холодными.

Пока он заходил в магазин, Павел Дударев мотнулся по киоскам. В одном купил кучу чебуреков, сразу же насквозь промасливших газету, в другом — пачку сигарет.

— Смотри, — сказал он Будакову, — новая марка, заграничные. «Хеба».

— «Нева», а не «Хеба», — сказал Будаков, скользнув глазами. — Ленинградские.

— Да ну! — удивился Павел. — Верно, Ленинград!

В руках его была еще одна покупка: портрет киноактрисы Людмилы Гурченко. Павел пристроил ее перед собой в уголок ветрового стекла. В

его «газоне» портретами киноактрис была облеплена вся кабина. Даже с потолка смотрели чьи-то лица.

— Насобирал бабья, гарем целый! И что ты их катаешь? — спрашивали Павла друзья.

— А веселей. Вроде я на «газоне» не одни, в компании. Ну-ка, девочки, говорю, айда за навозом! А теперь, подружки мои дорогие, на станции химудобрения нас ждут!..

— Это, братцы, он себе жену подбирает! Это у него для образца...

— Таким я не нужен, — спокойно отвечал Павел. — Такие — вушлые, им лауреатов, министров подавай. И мне такая без пользы. Я уж возьму — так свою, местную, курносую. Чтоб щи варила, за коровой ходила, детей рожала-нянчила...

— Ши... Небось бы клюнула такая краля — не отказался.

— А, может, клевала уже, и не одна, откуда ты знаешь? А видишь вот — холостой... Не, меня не собьешь, у меня линия твердая...

От центральной площади районного села дальше вел уже асфальт, и пустая машина покатила по нему легко, непринужденно, без дребезга, — точно сама радуясь такой дороге. Мотор гудел ровно, негромко, безнатужно. Стрелка указателя скорости подрагивала на шестидесяти. Будаков не прибавлял газу. Шофер-новичок или просто молодой шофер не удержался бы, понесся побыстрее: ровный асфальт и сильный послушный мотор всегда пьянят, зовут превратить езду в полет, — чтоб свистел разрезаемый воздух, чтоб серая лента шоссе слилась в глазах, будто раскрученный на полные обороты точильный круг. Будаков все это пережил в свое время, и давно уже к нему пришла шоферская мудрость, нужное на дороге спокойствие за рулем. Шестидесят — самая подходящая скорость. И машина без напряжения, вполсилы, и шоферу покойно, можно и по сторонам глянуть; что случись, всегда есть запас пространства и времени для маневра, успеешь и собраться, и затормозить.

Нигде больше не останавливаясь, обогнув Воронеж по объездной дороге, они выехали на основную трассу, убегавшую на север, прочерченную по середине белыми полосами, прерывистыми и сплошными — там, где нельзя обгонять.

Солнце уже опускалось, низко висело слева. Узкие тени от придорожных деревьев резали асфальт поперек. Там, где лесные посадки становились гуще, солнечный диск стремительно летел за стволами и сквозящей листвой, словно бы стараясь не отстать от машины, сравняться с ней в скорости, и спящие солнечные лучи пулеметно били из-за стволов по кабине, по ветровому стеклу, по глазам Будакова, заставляя его жмуриться, прикрывать лицо ладонью левой руки.

На шоссе был совсем другой темп, совсем другая плотность движения, чем на дорогах, которыми Будаков и Павел Дударев ехали до сих пор. Они почувствовали это сразу же. Сигнала, помигивая бортовыми и хвостовыми огнями, их неторопливый «газон» поминутно обгоняли рейсовые автобусы, набитые пассажирами, мощные ЗИЛы, порожние и проседающие на рессорах под тяжестью, лежащей в их кузовах, разноцветные «Жигули» и «Москвичи». Такой же непрерывный поток несся навстречу, по левой стороне шоссе. С однотонным басовито-трескучим ревом дизельных моторов, в какой-то зримой, осязаемой наглядности своего труда и напряжения, шли друг за другом длинные автопоезда, нагруженные широкими бетонными трубами, контейнерами, какими-то машинами, механизмами. Блестя алюминия своих огромных вагонов, величаво плыли реф-

рижераторы — с ростовскими, краснодарскими, бакинскими литератами на бортах, возившие в Москву мясо и овощи и теперь спешащие обратно, за новым таким же грузом. И так же юрко, сноровисто, будто без всяких усилий, как выпущенные из пращи, выскакивали из-за других машин и проскальзывали мимо ярко-желтые, синие, красные «Жигули» с московскими, ленинградскими, прибалтийскими номерами, с закутанной в брезент и клеенку кладью на крышах. Туристы, отпускники, — на юг, к морю, на отдых...

Будаков все же малость поволновался, когда выезжали на трассу, и на первых ее километрах. Но быстро освоился, а затем и полностью пришел в равновесие. Да, здесь тесно от машин, идут они непрерывной чередой, обязательно кто-нибудь маячит у тебя впереди, и сзади все время поджимают, висят на самом хвосте, выбирая момент для обгона, но все водители тут помнят о дисциплине, правилах, без этого тут просто нельзя, и километра не проедешь, никто не лихачит по-глупому, не мешает другим.

Белый придорожный плакатик известил, что на пути — Конь-Колодезь.

Село растянулось вдоль шоссе длинно, километров на пять. Слева, за строениями и садами, поблескивала зеленая гладь Дона. В середине села, на взгорке, видная издали, как свеча, белела каменная, суженная кверху четырехгранная колонна с вырезанной из железа бойкой скачущей лошадкой наверху.

Будаков сбросил скорость, проезжая мимо, — разглядеть.

— Коняшка! — показал Павел рукой. — Она-то зачем?

— С петровских времен, — сказал Будаков то, что слышал про этот памятник. — Когда еще Петр корабли в Воронеже строил...

Больше он ничего не знал, говорившие ничего больше не добавляли. Видно, за давностью времени забылось, по какому случаю встал при дороге этот каменный столб.

Белый четырехгранник, железная лошадка медленно проплыли мимо, а Будаков с совсем другим чувством взглянул на расстилавшуюся перед его глазами дорогу. Все на ней современное, недавнее, свежее: асфальт, указатели, знаки, а подумать — ей же ведь сотни лет! Она вела из Москвы на юг, в крепости, защищавшие от татар. Шагали по ней полки длиннородых ратников... Сколько раз меняли свой облик окрестная земля, города, села, а дорога эта — как была, так и осталась, бежит по тому же месту...

— Может, поедешь? — предложил Будаков Павлу, когда проехали село и по обе стороны от шоссе опять вольно распахнулись поля.

Павел, время от времени подкреплявшийся купленными в Хаве чебуреками, как раз дожевывал последний.

Он поперхнулся, заерзал на сиденье. Ответил не сразу.

— Ладно уж, веди. Я еще не пригляделся...

Будаков взглянул на него, усмехнулся краешками губ. А дома, в деревне, лихой ведь парень! Да еще какой! И за словом в карман не лазит, и прихвастнуть мастер, и водитель вроде бы на все сто — так иной раз по деревне промчит, что куры летом во все стороны и еще потом полчаса квохчут. А уж перед девчатами — так совсем орел...

В полевом просторе рождалась синеватая дымка. Помутнели, затягивались мглой дали. Небо налилось зеленью, багровый пожар пылал на западе, за Доном, где садилось угольно-раскаленное солнце.



Потом и небо стало тускнеть, меркнуть, — в бледных крапинах пер-  
вых звезд.

На встречных машинах зажелтели подфарники. Будаков тоже зажег  
наружные огни.

Ветер, врывавшийся в кабину, посвежел, стал холодить Будакову  
грудь, плечо. Мотор все так же вел свою ровную, урчливую песню. Рав-  
номерно шуршали шины. Шоссе плавно поворачивало — влево, вправо,  
опускалось в овражистые низины, возносилось из них на отлогие холмы,  
и с каждого такого перевала взорам колхозных водителей открывалась  
новая земная ширь, новые темнеющие дали.

С одного из холмов они увидели впереди, прямо по курсу, россыпи  
ярких электрических огней на продолговатой горе, сизый туман, кутав-  
ший ее подножие, и темную, тяжелую массу многоглавого собора, возвы-  
шавшегося из тумана и мглы. Километров десять было еще до города и  
собора, но даже на таком расстоянии ощутило почувствовалась его гран-  
диозная величина, тяжесть его стен, слитых из дикого камня, скупая,  
суровая красота всех его форм и линий.

— Вот и Елец! — сказал Будаков, как будто он уже видел когда-то  
прежде эту открывшуюся с холма картину, безошибочно понявший, что  
так выглядеть может только этот древний — древнее самой Москвы — го-  
род...

#### 4

Будаков помнил приказание председателя: гнать всю ночь, но через час  
они все-таки остановились. Опыт и рассудок подсказывали Будакову, что  
такая спешка ни к чему. В темноте, по незнакомой дороге... Они и так уже  
порядком подустали за день, да если еще ночь без сна? Ну, доедут — и уже  
не работники. В обратный путь тут же не повернешь, все равно придется  
отдыхать и тратить на это дневные часы. Так лучше уж сейчас покемарить,  
а на рассвете — дальше, с новыми силами. Никуда бычки не денутся. Кол-  
хозный зоотехник там, телеграмма об их выезде ему послана...

Будаков высказал все это Павлу, и тот без возражений принял его  
решение. Будаков старший, от председателя получал задание он, ему,  
стало быть, и ответ держать, если что...

Они свернули с асфальта в сторону, к речушке. Там на бережку с ред-  
кими кустиками уже стояли ночлежники: две «Колхиды» с рефрижера-  
торами и поодаль от них — тройка «Жигулей». Видать, это была одна ком-  
пания. При последнем свете вечерней зари мужчины натягивали палат-  
ки, женщины готовили еду. Бегали детишки.

Будаков поставил машину в стороне от «Колхид» и «Жигулей», не  
желая нарушать людям уединение и отдых.

Спина ныла от долгого неподвижного сидения в кабине. А когда-то  
он вовсе не знал, что такое усталость за рулем. Годы, годы, никуда не  
денешься... Сорок с гаком — на его работе это ведь уже пожилой человек...  
В глазах Павла — так даже, наверно, старый... А разобраться, оглянуть-  
ся назад — вроде бы и не жил еще, так быстро пролетели эти его годы...

— Купнемся? — предложил Павел.

Они подошли к речушке. Воду красил закат, она блестела тусклой,  
неподвижной медью. Пологий бережок был истоптан скотиной, по глу-  
боким дырам, продавленным копытами, было видно, что дно илистое,  
грязное, речушка мелка, только попить коровам, а для купания — непри-

годна. И рыба, должно, в ней уже не водится, даже такая неприхотливая мелочь, вроде пескариков, ершей. А, похоже, еще не очень давно река была полноводней, чище, глубже, в заводях, плесах...

Павел огорчился, что нельзя искупаться. Будаков, оглядывая берега, русло, тоже испытывал огорчение, но другого порядка: и тут, в этих местах, такое же дело, не берегут реки, не жалеют...

В воздухе звенели комары, мелькали на узкой полоске заката. Будаков уже раздавил несколько у себя на лице. Подумал: зря заехали они на этот приречный лужок, надо было искать стоянку на высоком месте, сухом. Изжалят тут комары, спать не дадут.

— Разведи, что ль, костерок... — сказал он Павлу. — Дымком их хоть малость отгоним.

Павел пошел по кустам, собирая хворост.

Будаков попил из бутылки ситро. Есть ему не хотелось. От усталости, наверно. Залез в кузов. Уезжая, они с Павлом прихватили сена, брезент. Разровнял сено, погуще взбил под стенкой кабины, где будут их головы, растянул брезент поверху, оставив один край свободным, — накрыться им с Павлом.

Павел вернулся не скоро, с той стороны, где расположились «Жигули». Бросил охапку сучьев, обгорелые палки, подобранные на старых кострищах, натолкал под сучья бумагу, поджег. Оранжевые червячки неохотно зашевелились в сплетении сыроватых веток, постепенно набирая яркость. Поплыл прозрачный дымок, неосязаемым движением воздуха его повлекло низко над лугом, в темноту уже совсем густых сумерек.

— Ну, химики! — усмехаясь, крутя головой, сказал Павел, разумея туристов на «Жигулях». — И столики у них специальные, и стульчики... Жратву на газовых горелках варят. Даже горшки детские! Уж горшки-то зачем с собой тащить? Смех да и только! Среди поля в горшки писать! Чудики городские!..

Пламя в костре вспыхнуло, поднялось, высветив вокруг траву, сделав ее цвет ярким, изумрудно-зеленым.

— Денег много, а ума нет! — сказал Павел презрительно, как бы подводя итог своим наблюдениям.

— Почему — ума нет? — поинтересовался Будаков.

— А разве есть? Я машину куплю — я столики, стульчики и прочую ихнюю дребедень заводить не буду. На курорт тоже не погоню. Я умней сделаю.

— Как же?

— У меня машина будет для пользы служить, а не так вот — для баблства. Своя машина — это ж какие деньги на ней делать можно! Да я в два счета ее цену верну. Картошкой загрузил — и в Краснодар. А оттуда — полтонны персиков. Или абрикосов. Знаешь, почему они на рынке в городе? Туда-сюда — и денег невпроворот. И тогда — что хошь!

— Например?

— Например — цветной телевизор куплю. Аккордеон самый лучший.

— На это у тебя и так хватит. Не бедно получаешь.

— Дом построю.

— А свой куда?

— Мать будет жить. А в новом — я с женой. Да мало ли что! Деньги — они всегда сгодятся.

— Жены еще нет, а ты уже — дом.

— Ну и правильно. Заранее надо думать, а не когда жена с матерью цапаться начнут.

— Бери такую, чтоб не цапалась.

— А как узнаешь, клейма на них не стоит. Поначалу они все ласковые. Замуж-то выскочить охота. А печать в паспорте шлепнули — тут вот только и увидишь, какая она на самом деле. Какие у нее коготки... Все нынче цапаются, дружно никто не живет. Ученые, образованные! Десятилетку кончит, нос — кверху! Никто ей не указ, на все свое мнение. Со своими-то родителями жить не хочет, лается, где уж там с мужней-то родней... Это раньше, стариков послушаешь, неделенными семействами жили. Невестки, зятя, — кучей. И все к старшим с уважением, поперек их слова — ни звука. Хозяйство общее, все заодно, как лыком связанные. А теперь такие семьи где увидишь? Теперь-то просто большой семьи не увидишь. Чуть подрост, выучился — уже норовит поскорей от дома оторваться, в отдельности жить. Родством даже не знают, не хотят... Матерей старых — и тех бросаю! Сколько по деревням одиноких-то старух! Поглядишь, живет — будто и нет у ней никого, сирота горькая. А все — детные. У каждой и сын где-нибудь, и дочка, а то и трое, четверо. Один — там на производстве, другой — аж в саму Москву забрался. Квартиры отхлопотали в три комнаты, полированная мебель, ковры настелены, навешены... Автомашина своя. А родную мать приютить — нет на это сердца, побросали, в халупах свой век доживают. Письмецо раз в год и десяточку на праздник... А которые навещают — так у них больше свой интерес, насчет картошки, помидорчиков, лука. Мать на огороде спину гнет, а они кошечки, мешки набили, а то и «Москвичок» доверху, аж рессоры трещат, — и назад в город. Будьте здоровы, мамаша, не болейте, трудитесь ударно, мы вас не забудем, это сожрем — сызнова навестить приедем...

Будаков вынул из костра на прутике огонь, прикурил.

— Осуждаешь, а сам? В задумке — тоже ведь от матери отделиться...

— Я ж колхоз не кидаю! Не на производство ухожу. Мать не одна останется. Я ж тут же, в деревне. Это разница. А что свекровь и невестка должны врозь проживать — это закон. Для общего мира и блага. Старые молодых сейчас не одобряют, молодые со старыми не согласны, и не надо им друг другу мешаться, жизнь портить. Старые пускай своими правилами живут, молодые — своими. Своим умом и разумом. А ума нет — так и дурью. Да своей. Все равно лучше. Пускай жена себя полной хозяйкой видит, как сделала — так и сделала, и нет ей суда. Что — неправда? Вот ваш Петька женился. От «Сельхозтехники» комнату получил, и сразу они отдельно, в ваши домашние дела не лезут, а вы — в ихние. А вместе б, в одних стенах? Мало-помалу, а пошла б грызня, не миновать... Это дело известное... Не удержалась бы мать, хоть во что-нибудь, а встряла. Непременно. Не так, мол, стряпаешь, не так стираешь, много мыла извела, не ту посуду берешь... А молодая — что, стерпела бы? Покорилась? Хо-хо! Так бы отлаяла — держись! Сейчас у каждой девки язык — бритва. Телевизоры смотрят, «Кабачок двенадцать стульев»...

Будаков молча затягивался сигаретным дымом, не споря с Павлом. Может, он и прав, так бы и вышло в его доме, кто знает, — действительно, много вокруг в семьях всякого разлада, неуживчивости, открытой вражды. И что это так, отчего? Жизнь устроенная, все сыты, обуты, одеты, ни у кого нет нехваток насущного, как после войны или даже еще лет двадцать назад, а добра, душевности, дружелюбия друг к другу —

убавляется... Когда он женился, привел Дашу в дом, у него и в мыслях не появлялось, уживутся ли они с матерью. А Даша пришла, можно сказать, ни с чем, да и у него что было — сапоги, стеганка, что на службе в армии выдали. И дом пустой. Стол, лавки, чугуны, ухваты. Две кровати железные. Сестры на печи спали. В те поры ничего того в домах не водилось, что теперь есть, и самих домов таких в деревнях не было, — мазанки, хатенки. Черная солома на крышах. В колхозах за труд палочки писали. Садилась Алексей с Дашей за обед, мать садилась, две сестры старшие, — все из одной миски ели, по очереди ложки ко рту несли, чтоб никому обиды не сделать... Алексей в МТС работал, там платили неплохо, дети у них с Дашей пошли, своя уже вроде бы отдельная семья, но все равно, пока мать была жива, сестры незамужние, так обща хозяйство и вели, не считаясь, кто сколько вложил, кто больше, кто меньше. И никогда никаких ссор в доме, недовольства, чего-либо исподтишка, втайне от других...

Разговор, что затеял Павел, был, в общем, ни к чему, совсем случайный, им обоим следовало ложиться на сено да поскорей засыпать. Июньская ночь коротка, не успеешь закрыть глаза — уже светает.

Будаков швырнул в костер окурки, сказал:

— Ладно, гаши огонь, все равно без толку!

И с колеса перелез через борт.

Павел пожевал что-то из своих припасов, тоже попил из бутылки, затоптал ногами нагоревшие уголья. Шумно влез в кузов, плюхнулся рядом с Будаковым на брезент, спросил: «Сколько ж это мы накрутили сегодня, под триста, да?» Отвечать не пришлось. Пока Будаков соображал, припоминал цифры спидометра, Павел уже засвистел носом.

## 5

А Будакова еще не скоро взял сон, хотя все тело ломила усталость, голова была тяжела, а веки сухие, жесткие, точно под них попал песок. То ли речи Павла разбередили в нем что-то, то ли шум с близкого шоссе беспокойл, не давал уснуть, — вероятно, и то, и другое вместе.

Трасса не замолкала. Шум машин только спадал, ослабевал ненадолго, но ни на минуту не наступало полной тишины. В ту и другую сторону продолжали идти рефрижераторы, тяжелые грузовики с прицепами, ослепительно сверкая фарами, далеко высвечивая перед собой дорогу. Оттого, что вокруг были ночь, степь, безветрие и все молчало, и шум от движения машин был единственным звуком, он слышался громче, чем днем, назойливо лез в уши. В нем появился другой, скрежещущий оттенок; казалось, грузовики, автопоезда катятся не на колесах, а волокутся по асфальту железом своих днищ.

Мысли текли отрывочно, и в то же время была в них какая-то нить. Сложное все-таки дело — жизнь, думал Будаков, даже такая вот простая, нехитрая, как у него... Нести свой мужской, отцовский долг, кормить семью... Сколько поделано всякого труда, на работе и дома, изо дня в день, не зная передышки, отдыха... Вырастить детей, поставить на ноги, сделать так, чтоб не сбились в дурное, выучились, приспособились к делу, профессии, стали самостоятельными людьми... Не просто все это. Старший, Петр, окончил техникум, парень смекалистый, с головой, ценят его, недавно перевели на инженерную должность. За него уже можно не переживать. Средний — тоже в техникуме, через год будет специалистом.

Что касается старшего и среднего, то уже сейчас можно сказать, что их родительские с Дашей труды не пропали. А у иных дети — только мука для сердца! Ничего путного не вышло. Великовозрастные уже, а знают только одно — хулиганить, лодырничать. В двадцать лет — законченные алкоголики. А то и по тюрьмам...

Могла его жизнь и иным путем пойти... Подался бы он тогда, молодым, неженатым, в начале пятидесятых, когда деревни пустели, в какой-нибудь город, на завод, на стройку... Что ж, теперь бы, может, осталось у него побольше здоровья, не выглядел бы он таким старым, беззубым, не резали бы лицо глубокие морщины... Не сладок труд колхозного шофера. Большую часть года — бездорожье. Сколько он буксовал под дождями в липкой грязи, в снегу, сколько его тросами вытягивали, сколько вытягивал он... А лето пришло — вкалывай без счету времени, потому как — надо. Уборка, вывозка хлеба — так и ночи напролет без сна... С частями туго, сломалось что — сам ищи, добывай, ремонтируй. Сам и слесарь, и сварщик, и электрик, — все должны уметь его руки... Городские жильцы получают готовое, ключик от квартиры, — пожалуйста, живите! А они с Дашей дом сами строили. Весь, от начала до конца, от первого кирпича в фундаменте и до козырька на печной трубе... Даже кирпич он сам возил, из Латного. Ровно сто километров по спидометру от деревни, и обратно — сто. Благо еще что шофер, и председатель разрешал машиной воспользоваться, а остальные колхозники, кто строиться вздумал, еще и за перевозку немалые деньги плати...

Что же его не пускало тогда из деревни, требовало: нет, вот твое назначение, здесь твое место?

Он знает — что. Сказать только не просто, облечь в слова. Он и не говорил про это словами, ни себе, никому. Просто чувствовал. Просто это было в нем — и все... Когда сел он с шоферскими правами за баранку, стал ездить теми же дорогами, какими ездил отец, ему все казалось, что откуда-то издали точно бы глядят на него отцовские глаза, и тихо он радуется, что не все от него кончилось на земле, есть у него наследник, продолжатель его жизни и труда. Он, Алексей, когда подрастал, даже не думал, не размышлял ни одного часа, какую ему профессию выбирать, кем быть, где работать. Для него это как бы само собой разумелось: он — сын шофера Дмитрия Матвейча, которого весь район знал и помнит; не пришел отец с войны, где-то носит ветер его прах, размывают дожди, — стало быть, заступать Алексею на то же место...

## 6

Они выехали, когда вокруг только едва посерело, небо было еще полностью в звездах, холодная темная мгла его лишь начинала таять, а на востоке тусклой зеленой намечалась заря.

Луг был весь выбелен, осеребрен росой. За машиной по нему протянулось два явственных черных следа.

За рулем сидел Павел. Шоссе было в оба края пустым и молчащим. Вот только когда наступили для него передышка, покой: на рубеже ночи и рассвета.

Павел сразу же погнал на восьмидесяти. Пока шоссе свободно, надо пользоваться, проскочить подальше, до самого Орла или даже за Орел.

Шум колес, мотора, ветра достигал пронзительных нот, глушил в кабине голоса. Крутые подъемы издали казались вертикалью, направлен-

ной прямо в небо. Павел жал до предела на газ, машина разогналась, набирала инерцию, и — возносилась, точно на качелях. А через минуту они неслись опять под уклон, новый отрезок шоссе вел их в небо, и опять следовал стремительный взлет, — даже вдавливало в пружинную спинку сиденья.

Будаков, как все старые шофера, когда рядом новичок или просто водитель моложе по опыту, не умел сидеть пассажиром, отключенным от управления машиной. Чувства его принимали участие во всем, что делал Павел: вместе с ним он как бы нажимал своей ногой на педаль газа, отпускал ее на поворотах, притормаживая разгон машины, поворачивал с Павлом рулевое колесо, чтоб вписаться в закругление дороги, не выскочить на обочину или в кювет.

Деревни на пути еще не пробудились: ни дыма из труб, ни людей, ни кур перед избами. Даже собаки не бегали, спали, не настал еще час их службы.

Орел подступил что-то уж слишком быстро, Будаков и Павел даже удивились. Они поменялись местами, а, проехав город, совсем пустынный, безлюдный, мокрый от поливальных машин, с беззвучно, ни для кого, мигающими на перекрестках светофорами, Будаков опять отдал Павлу руль.

Уже попадались навстречу автомашины; кто-то в эту утреннюю рань с едва начинающим золотиться небом тоже торопился по каким-то своим срочным делам, — пока не загружено шоссе, не наполнилось транспортом и можно мчать без всяких помех.

Местность приобретала другой вид. По сторонам стало больше рощиц. Потом появились довольно обширные леса, пластавшиеся по взгорьям и низинам, густой синью закрывавшие горизонты. Сказывалась Брянщина, партизанский край.

А затем лес подступил к самой дороге, две зеленые стены встали слева и справа, замкнув ее, превратив в узкий коридор. Казалось, он смыкается вдаль, доедешь — и все, стоп, пути дальше нет. Но машина неслась, гулкое эхо ее движения отстреливало от обомшелых стволов, и коридор все расширялся, дороге не было конца, предела, она все так же прямолинейно убегала вперед, в неизвестную даль.

На редких облачках в вышине лежал розовый свет зари, лучи солнца уже пронизывали над лесом прозрачный воздух, но сам лес все еще был полон синеватого сумрака, тумана. Языки его выползали на шоссе, машина рвала их в клочья, и они бешено вихрились позади нее, точно дым от выстрела, в котором снарядом был несущийся на предельной скорости грузовик.

Большой плакат замаячил на правой обочине. Он был не похож на обычные дорожные указатели. Крупные красные буквы горели ярко. Но скорость была велика, и Будаков успел схватить глазами только отдельные слова: «Водитель! Впереди... Поддай звуковой сигнал...»

— Притормози! — скомандовал он Павлу, еще не понимая, что ждет их за плакатом на дороге, почувствовав только, что неспроста этот призыв, эти ударившие по глазам слова, сейчас должно последовать что-то важное, необычное. Павел послушался, машина замедлила ход. Шум ветра, движения мгновенно стих, в открытые окна стало слышно, как свистят, наперебой щелкают в лесу птицы.

Плотная стена леса справа оборвалась, лес отступил от шоссе, открылась обширная квадратная поляна, аккуратно вырезанная, расчищенная

в лесном массиве, и что-то огромное, серое посреди нее — бетонное, гранитное, бронзовое... Памятник.

Выпрямленно, высоко вскинув голову, — в самое розовое от утренней зари небо, — на подножке подбитого, гибнущего грузовика, погибая сам, но не сдаваясь, нечеловеческим напряжением направляя руками руль, стоял фронтальной шофер — в последнем, смертном уже рывке вперед, туда, где идет бой, где ждут его груз. Пламя било из-под передних колес, лизало мотор, кабину, сжигало шоферу лицо, грудь...

Не спрашивая, Павел круто свернул с шоссе, остановил грузовик.

Не спуская с монумента глаз, Будаков вышел из кабины. Тишина объела его, тишина погожего утра, воздушного простора, в безмерную высь вставшего над поляной, над лесом, над гранитным монументом.

Но тишина длилась только миг, пока Будаков не шагнул к памятнику. Уши его явственно услышали, что гранит и бронза не безмолвны, памятник звучал, как может звучать только настоящий бой в минуты самого своего яростного накала: свистели над бронзовым шофером осколки, во всю свою мощь ревел дымящийся мотор, гудело пламя, трещал пробитый кузов с патронами и снарядами, которые должны решить судьбу сражения, судьбу бойцов: победа — или смерть... У Будакова сдавило грудь, пресеклось дыхание. Он замер на месте, с расширенными глазами, с чувством, как будто на своем колхозном грузовике он пронесся сквозь время, назад, на тридцать с лишним лет, и в лицо его пахнуло жаром и дымом далекой войны...

По шоссе приближалась машина. Шум ее усиливался, нарастал. Из-за леса появился грузовик, простой работяга, с высоко наложенными в кузове ящиками, и раздался протяжный автомобильный сигнал. Он длился все время, пока грузовик пересекал поляну, а когда замолк — зазвучал голос другого грузовика, идущего со встречной стороны.

— Салют! — догадался Будаков. — Вот о чем напоминал водителям плакат, поставленный на дороге!

Дыхание его сжалось снова. Тысячи машин проходят здесь каждый день, и тысячи салютов звучат в честь фронтальных шоферов, мертвых и живых, в память их известных и безымянных, нигде не записанных подвигов...

Низ памятника, его гранитный доколь обрамляли цветы. Яркие пылали пунцовые канны. На маленьких железных табличках, воткнутых среди цветов, было написано, откуда привезена земля. Она была собрана почти со всех краев страны: сибирская, уральская, саратовская, вологодская, пензенская, орловская, казахстанская, ташкентская... Десятки делегаций ветеранов-фронтальных побывали тут.

Сзади снова нарастал шум проходящей машины. Будаков обернулся. Неторопливо, нагруженно двинулся автофургон с синей надписью «Хлеб» на облезлом фанерном боку. Утренний, свежий выпечки хлеб вез куда-то молодой шофер, — в сельский магазин, может, рабочим недалеко стройки. Глуховатый, чуть дребезжащий гудок старого, заезженного грузовика прорезал воздух, простерся над поляной. Черная новая «Волга», в которых ездят важные лица, бесшумно выкатилась вслед за автофургоном, и, не умолк еще, не растаял в воздухе его сиплый гудок, как его продолжил бархатисто-музыкальный, баритонального тембра сигнал «Волги». Он встретился и пересекся с новым сигналом. Автокран ехал мимо поляны, наклонив желтую подъемную стрелу, с крюком, притороченным тросами к передку. Салют! Салют! Салют фронтальным шоферам, всем, кто под

бомбами немецких «юнкерсов», в жару и в мороз, в проливные дожди и пургу возил на передовые боеприпасы, спасал раненых, кто погибал вот так — не отступая, в пламени своей горящей машины, ослепленный дымом, до последнего биения сердца не снимая обожженных рук с рулевого колеса... Кто знает, кто расскажет теперь, что было с его отцом Дмитрием Матвеичем, как встретил он свой последний миг... Может быть, здесь — и его подвиг, и его судьба, в этом шофере из гранита и бронзы, вставшем у края бывшей фронтовой дороги, чтоб никогда не могла забыться память о тех, кто сражался и победил в самой страшной из всех бывших на земле войн...

— Ну, поедем, что ль? — уже в который раз спрашивал Будакова Павел. Он уже насмотрелся, покурил, успел заглянуть в мотор. Ему было невдомек, почему его старшой, всегда уравновешенный и спокойный, в таком волнении, почему у него такое лицо, почему он медлит, даже не слышит обращенных к нему слов. Ну, поглядели — и дальше, время-то идет... Памятник как памятник, много таких — летчикам, танкистам, артиллеристам...

А Будаков и правда его не слышал. В пальцах его была незакуренная, забытая сигарета. Он то смотрел на памятник, на цветы, то поворачивался лицом к шоссе, слушал салютующие гудки проходящих машин. И думал о том, что он приедет сюда еще раз... Вот закончится в колхозе уборка, попросит он себе у председателя отпуск... Даша сошьет из холстины мешочек, насыплет он в этот мешочек деревенской земли, на которой вырос, вскормился, жил, работал его отец, которую он пошел защищать в сорок первом году для своих детей, — а теперь на ней живут и внуки, и недолго ждать уже до правнуков, — и привезет он сюда эту горсть, положит землю родной их Васильевки у памятника, где цветы, рядом с землей из других мест и краев России...

Как кладут землю с родины на далекие могилы своих близких, чтоб грела она их мертвые сердца...